

ПЕПЕЛ И ЗВЕЗДЫ

18+

Алекс Родионов

ПЕПЕЛ И ЗВЕЗДЫ

<https://litres.ru/74308288>

SelfPub; 2026

Аннотация

В Империи Семи Звёзд драконы умерли тысячу лет назад. Их пепел стал валютой, их кости — дворцами, их память — пылью, которую развеивает ветер. Эйрис, девятнадцатилетняя дочь Пепельщика, собирает останки великих существ в развалинах Звёздного Храма и слышит их тишину. До того дня, когда в груди обожжённого мрамора она находит не пепел, а живого юношу с выжженной ладонью и глазами цвета тления, в которых горит что-то, чего она не может назвать.

Каэль не помнит, кто он. Он знает только, что прикосновение Эйрис обжигает его холоднее льда, а её голос разбивает внутри него стены, за которыми скрывается чудовище. Чудовище, которое должно было умереть.

Содержание

Глава 1	4
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Алекс Родионов

ПЕПЕЛ И ЗВЕЗДЫ

Глава 1

Оглавление

Часть I. ПЕПЕЛ

1. Дочь мёртвых богов
2. Юноша из золы
3. Рука, которая помнит огонь
4. Пепел говорит шёпотом
5. Первая искра

Часть II. КРЫЛЬЯ

6. Кровь звёздного цвета
7. Уроки полёта для тех, кто боится высоты
8. Охотники, что пьют тишину
9. Половина песни
10. Когда пепел стал плотью

Часть III. ЗВЁЗДЫ

11. Дворец из чужих костей
12. Закон, которому нет имени
13. Последняя ночь перед концом света
14. Песнь, после которой тишина
15. Дракон на рассвете

Эпилог. Имя в пепле

Глава 1

Дочь мёртвых богов

Пепел пахнет потерянным временем.

Это первое, чему учит отец. Второе — не дышать, когда ветер поднимает серебристые вихри. Третье — никогда, ни при каких обстоятельствах не прикасаться к пеплу голыми руками.

Но отец умер три года назад, оставив мне лопату с обгоревшим древком, мешок из чешуи дракона и право собирать останки там, где другим вход воспрещён под страхом смерти. Так что третье правило я нарушаю каждый день. Нарушаю так же неизбежно, как дышу, потому что пепел — единственное, что у меня есть.

Я сижу на краю разрушенного купола Звёздного Храма, ноги свисают в пропасть из обломков и молчания. Подо мной — Империя. Не та, что рисуют на картах в Доме Ветров, а настоящая: крошечная, жалкая, дымящаяся. Как пепел, который я собираю каждое утро, она серебристо-серая, усыпанная остатками величия. Крыши из драконьих рёбер, дороги, вымощенные чешуёй, фонари, где вместо огня пылают кристаллизованные слёзы. Люди ходят по трупам богов и называют это цивилизацией.

А я сижу здесь, потому что здесь тихо.

И потому что здесь, среди обломков, пепел поёт.

— Эйрис.

Я не оборачиваюсь. Голос принадлежит Томасу, старому хранителю нижних ворот, и он звучит так же, как всегда — устало, слегка раздражённо, с привкусом похмелья.

— Ты опять наверху. Запрещено. Падёшь — я отвечать не буду.

— Я не упаду, — говорю я, не отрывая взгляда от горизонта. — Я лечу.

Старик фыркает. Он не понимает шуток. Он не понимает и меня, но терпит, потому что отец был лучшим Пепельщиком за сто лет, а я — единственная, кто согласен лезть туда, куда боятся ступать даже стервятники.

— Внизу ждут мешки. Три пуда. До заката.

— До заката, — киваю я.

Он уходит, шаркая подметёнными сапогами по камню. Я остаюсь одна.

Ветер здесь другой. Не тот, что в городе — тёплый, вонючий, набитый запахами кухонь и кожаных мастерских. Здесь ветер пахнет озоном и древностью. Здесь он несёт голоса.

Я закрываю глаза и опускаю ладони на камень под бёдрами. Камень тёплый. Всегда тёплый, хотя солнце не греет эти руины уже тысячу лет. Тепло идёт изнутри — из пепла, усыпавшего глубины Храма. Из того, что осталось от Семи.

Я называю их так. Не по именам, которые высечены на обелисках в Нижнем городе. Их настоящие имена — в пепле, и я слышу их, когда касаюсь его. Не вслух. Не словами. Но

я слышу.

Седьмая шепчет что-то особенное. Она — младшая, последняя, упавшая не на севере, где остальные, а здесь, в самом сердце Империи. Её пепел лёг под фундамент Храма, и люди построили святилище на её костях, не зная, что бог всё ещё дышит под их ногами. Или не дышит. Я не знаю. Но её шёпот — самый громкий. Самый грустный. Самый... одинокий.

Я открываю глаза и спускаюсь вниз, по трещинам, где когда-то были лестницы.

Мой путь — лабиринт. Обвалившиеся арки, залы, где своды держатся только на честном слове, коридоры, заваленные обломками. Я знаю каждый камень. Знаю, где можно наступить, где — нет. Знаю, где пепел глубокий, как снег, а где — спрессованный в серебристые плиты, по которым можно бить искры.

Мешки ждут у входа в Глубинный зал. Я беру первый, вешаю на плечо, иду вперёд.

Пепел собирают по-разному. Горожане — лопатами, жадно, грубо, как картофель. Отец учил меня другому. «Пепел — это не ресурс, — говорил он, кладя мне в ладонь горсть серебристой пыли. — Это исповедь. Слушай, прежде чем забирать».

Я слушаю.

Сегодня пепел шепчет о небе. О синеве, которую я никогда не видела — не той бледной, что над Империей, а насто-

ящей, бездонной, вышитой облаками. Он шепчет о ветре под крыльями, о солнце, что плавит чешую, о свободе, которую невозможно описать словами, потому что для неё нет слов в человеческом языке.

Я плачу. Не вслух. Слёзы просто текут, пока я собираю пепел в мешок, и я не вытираю их. Отец говорил: слёзы — это дань. Если пепел заставляет тебя плакать, значит, он доверяет тебе свою боль.

Я собираю три горсти, четыре, пять. Пепел здесь особенный — не серый, а с лёгким голубоватым оттенком, как небо перед грозой. Седьмая. Всегда Седьмая.

И тогда я чувствую это.

Тепло.

Не то тепло, что исходит от камней. Не то, что исходит от пепла. Живое тепло. Дыхание.

Я замераяю, прижав ладонь к каменному полу. Сердце бьётся в горле. Здесь, в Глубинном зале, никого не должно быть. Никого живого. Томас не ходит так далеко. Стервятники боятся. Даже я — и я здесь каждый день — чувствую, как что-то сжимает грудь, когда переступаешь невидимую границу между «здесь» и «там».

Но дыхание — реальное. Медленное. Тяжёлое.

Я оставляю мешок и иду на цыпочках, обходя завал. Зал расширяется, и я вижу источник.

В углу, там, где свод упал, образовав естественную пещеру из мрамора и пепла, лежит человек.

Нет.

Лежит тело.

Но тело дышит.

Я подхожу ближе, сердце колотится так, что, кажется, слышно в всей тишине Храма. Юноша. Или мужчина — молодой, может, немного старше меня. Его одежда — обгоревшие лохмотья, не узнать, что это было. Волосы чёрные, спутанные, усыпанные пеплом. Лицо...

Я замираю.

Лицо цвета тления. Не бледное, не мёртвое — а как будто кто-то взял угли, дождался, пока они станут пеплом, и попытался вылепить из них человеческие черты. Высокие скулы, тёмные брови, губы, слегка приоткрытые. И шрам. Длинный, выжженный, проходящий через всю ладонь правой руки, лежащей на груди.

Шрам светится.

Не метафорически. Не в моём воображении. Тонкая линия на его ладони — от основания запястья до кончиков среднего и указательного пальцев — пульсирует тусклым красным светом, как уголь, который не хочет умирать.

Я отшатываюсь, спотыкаясь о камень. Шорох. Его глаза открываются.

Я никогда не видела таких глаз. Они не просто тёмные. Они — цвета пустоты, в которой горит что-то. Звезда, упавшая в бездну. Уголёк, застрявший в ночи. Они смотрят на меня, и я чувствую, как воздух вокруг становится тяжёлым,

горячим, неправильным.

— Ты... — голос его хриплый, как будто он не говорил годами. — Ты... пахнешь...

Он моргает. Медленно. Тяжело. Поднимает голову, и я вижу, как пепел осыпается с его волос, с его плеч. Он смотрит на свои руки. На светящийся шрам. На меня.

— ...домом, — заканчивает он, и глаза закрываются.

Он падает в обморок. Или засыпает. Или умирает — я не знаю. Но дыхание продолжается.

Я стою, прижав спину к холодному мрамору, и смотрю на него. На незнакомца в сердце Храма, где не должно быть жизни. На его светящуюся ладонь. На пепел, который осыпается с него, как снег, но не тает.

И тогда я понимаю.

Пепел вокруг него — не просто пепел. Он не лежит на нём. Он... вытекает из него. Медленно, едва заметно, но я вижу. Тонкая струйка серебристой пыли стекает с его волос, с его рук, с его одежды, и растворяется в воздухе.

Он не лежит в пепле.

Он — пепел. Или пепел — он.

Я должна бежать. Это очевидно. Я должна бежать, закричать, позвать Томаса, солдат, кого угодно. Незнакомец в Звёздном Храме — это смерть. Незнакомец, который светится изнутри — это нечто большее, чем смерть. Это то, о чём предупреждают детей. То, что скрывается в сказках, которые рассказывают у камина, чтобы было страшно.

Но я не бегу.

Я подхожу ближе. На колени. Медленно, как будто боюсь спугнуть. И протягиваю руку.

Моя ладонь касается его лба.

Огонь.

Не боль. Не жжение. А что-то другое. Что-то, что поднимается из груди, захватывает горло, заставляет глаза наполняться слезами. Я вижу. Не думаю, не воображаю — я вижу.

Небо. Бездонное, вечное. Крылья, раскинутые в ветре. Падение, длиннее, чем жизнь. Боль, которая не кричит, потому что у неё нет голоса. Пепел, который не хочет умирать. И тишина. Ужасная, полная, одинокая тишина, которая длится тысячу лет.

Я отдёргиваю руку, падаю на спину, тяжело дыша. Пепел вокруг взметнулся, закружился, образуя миниатюрный смерч, который тут же оседает, как будто ничего не было.

Незнакомец лежит неподвижно. Его ладонь всё ещё светится, но тусклее. Словно я что-то забрала. Словно я что-то разбудила.

Я смотрю на него. На пепел. На мешки, стоящие у входа.

И знаю: я не смогу оставить его здесь. Не потому что добрая. Не потому что глупая. А потому что он сказал, что я пахну домом. А я не помню, что такое дом, со времён, как отец умер в этих стенах, собирая пепел, который оказался слишком горячим.

Я достаю из кармана запасной мешок. Маленький, для

образцов. Начинаю аккуратно, очень аккуратно, перекладывать незнакомца внутрь.

Он лёгкий. Невероятно лёгкий. Как будто внутри него — не кости и кровь, а пустота, усыпанная звёздами.

— Ты кто? — шепчу я ему, хотя он не слышит.

Пепел на его губах дрожит. И я слышу. Не вслух. В голове. Тихий, едва уловимый шёпот, который принадлежит не ему.

Седьмая.

Я замираю, держа мешок с человеком внутри, и смотрю на руины вокруг. На пепел, который поёт. На Храм, который дышит.

— Нет, — говорю я тишине. — Этого не может быть.

Но тишина не отвечает. Она просто смотрит на меня глазами чёрного неба, усыпанного звёздами, которых я никогда не видела.

Я взваливаю мешок на плечо. Он лёгкий, как перо. Или как пепел, который ещё не решил, хочет ли он лететь.

— Домой, — говорю я незнакомцу. — Потом разберёмся, кто ты.

И выхожу из Глубинного зала, оставляя за спиной три пуда несобранного пепла, мёртвого отца и всю свою прежнюю жизнь.

Впереди — закат. За спиной — Храм, который, кажется, наконец-то замолчал.

Глава 2

Юноша из золы

Спуск с Храма — это всегда путь вниз, в реальность. Но сегодня реальность тяжелее мешка на моём плече.

Я иду по тропе, которую протоптали веками Пепельщики, — узкой, скрытой за гребнем северного склона. Ступени выбиты в камне, но камень осыпается, и каждый шаг — это выбор между «держись» и «лети». Мешок на спине шевелится. Не сильно. Едва заметное движение, как будто внутри не пепел, а кошка, нашедшая удобную позу. Но пепел не дышит. А тот, кто внутри, — дышит.

Я останавливаюсь, прижимаю спину к холодной стене ущелья и прислушиваюсь. Дыхание ровное, глубокое. Он спит. Или без сознания. Лучше бы без сознания — до тех пор, пока мы не окажемся в безопасности.

— Эй! — кричит кто-то снизу.

Я замираю. Голос принадлежит не Томасу. Томас хрипит, как старая дверь. Этот голос молодой, резкий, с привкусом приказа. Стража.

— Ты там, наверху! Что несёшь?

Я оборачиваюсь. У нижнего ворота, где тропа выходит на базальтовую площадку, стоят двое. Серые плащи, короткие копья, лица в тени капюшонов. Они не должны быть здесь. Нижние ворота охраняет только Томас, и то — только до заката. После заката Храм должен пустеть. Это закон. Закон, который никто не нарушает, потому что все боятся.

— Пепел, — отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Три пуда. Как всегда.

— Открой мешок.

Сердце уходит в пятки. Я смотрю на мешок, прижатый к боку. Если я открою его сейчас, они увидят лицо. Лицо цвета тления, глаза пустоты, шрам, который светится. И тогда всё кончится. Не для него — для меня. Потому что в Империи есть только одно преступление хуже кражи пепла: сокрытие того, что принадлежит Звёздам.

— Открой, — повторяет стражник, и я слышу, как он хрустит копытом камня, подходя ближе. — Или я сам открою. И тебе не понравится, как я открываю.

Я медленно опускаю мешок на землю. Руки трясутся. Не от страха — от ярости. Ярости на себя. Наивная дура. Надо было оставить его в Храме. Надо было позвать Томаса. Надо было...

— Чего тебе надо, Варрен? — раздаётся сверху голос Томаса.

Я поднимаю голову. Старик стоит на вышке у ворот, приклонившись к гнилой балюстраде. В руке у него фонарь, но он не зажжён. Томас не любит свет.

— Проверяю груз, — бурчит младший стражник. — Мой долг.

— Твой долг — стоять у южных ворот и не мешать Пепельщикам работать, — Томас сплёвывает за перила. Слышу, как слюна долетает до камня. — Это дочь Гаррета. Она тут родилась. Ты — нет. Убирайся.

— У меня приказ...

— У тебя приказ стоять на жопе ровно и получать пайку. Убирайся, пока я не спустился и не показал тебе, куда именно тебе вставить это копьё.

Стражник замирает. Томас стар, хром и, вероятно, пьян. Но он хранитель ворот двадцать лет, а до этого — рубака в пепельных шахтах. В Империи вес имеет не тот, кто моложе, а тот, кто пережил больше пепла.

— Следующий раз, — бормочит Варрен, отступая.

— Следующий раз ты будешь умнее, — отзывается Томас, и его голос следует за мной, когда я, не оглядываясь, тащу мешок мимо ворот. — Эйрис.

Я останавливаюсь.

— На этот раз — повезло. В следующий — может, не повезти. Умная девчонка. Но иногда ум — это не то, что нужно. Иногда нужно — оставить то, что нашла, там, где нашла.

Я не оборачиваюсь. Не могу. Потому что если обернуся — он увидит моё лицо, и поймёт всё. А я не хочу, чтобы он знал. Не потому что боюсь выдать. А потому что боюсь, что он скажет мне бросить мешок. А я уже не могу.

— Спасибо, — шепчу я.

— Не благодари. Просто... — он замолкает, и я слышу, как он отхлёбывает что-то из фляги. — Просто не вздумай умирать раньше меня. Мне некому будет приносить вино.

Я киваю в темноту и иду дальше, в город, который дышит пеплом.

Мой дом — это то, что осталось от Башни Ветровой стражи. Когда-то, до падения, здесь жили люди, которые следили за небом. Теперь небо никому не нужно, и башня обрушилась наполовину, оставив только нижний этаж с пристройкой, где когда-то хранили запасные копья. Отец купил её за горсть драконьей чешуи, когда я была маленькой. Сказал, что здесь тихо. Сказал, что здесь пепел не ложится так густо, как в городе, потому что ветер сносит его в пропасть.

Он солгал. Пепел ложится везде. Просто здесь его не видно на чёрном камне.

Я открываю дверь — тяжёлую, обитую рёбрами какого-то давно вымершего зверя — и втаскиваю мешок внутрь. Комната маленькая. Стол у окна, два стула, один из которых сломан, печка, которая дымит, но греет, и лестница на чердак, где я сплю. Всё. Всё, что у меня есть.

Я стаскиваю мешок на пол и осторожно развязываю шнурок.

Он лежит так же, как в Храме — неподвижно, лицом вверх. Пепел осыпался с его волос на мешок, и теперь он выглядит менее... чужим. Больше похожим на человека. Но только если не смотреть в лицо. Лицо всё ещё цвета тления, а шрам на ладони всё ещё тлеет, как уголёк под дуновением.

Я прикасаюсь к его шее. Кожа горячая. Не лихорадочно — просто горячая, как камни Храма. Пульс быстрый, но ровный.

— Ты кто? — шепчу я ему, хотя он не слышит. — Что ты

делаешь в моём доме?

Он, конечно, не отвечает.

Я отхожу к столу, наливаю воды в железную чашку и возвращаюсь. Поднимаю его голову, прислоняю край чашки к губам. Вода льётся, стекает по подбородку, но потом он судорожно глотает. Раз. Два. Три. Его горло работает, механически, как у цепного пса, которого забыли покормить.

— Ещё? — спрашиваю я.

Он не открывает глаз, но кивает. Едва заметно.

Я пою его ещё. И ещё. Четыре чашки. Пять. Он пьёт, как будто не пил годами. Или веками.

Когда он отказывается, я укладываю его на бок, накидываю своё старое пальто — единственное, что нашла, — и отхожу к печке. Руки трясутся. Я сажусь на корточки и смотрю на огонь.

Он пил. Значит, он жив. Значит, он останется.

Я не знаю, рада я этому или нет.

Ночь приходит быстро. В Империи нет сумерек — есть только день, серый и пыльный, и ночь, чёрная, как пепел за окном. Я не ложусь. Я сижу на стуле у печки и смотрю на мешок с человеком.

Он не шевелится. Но иногда, в самые тихие моменты, когда ветер затихает и даже крысы в подвале замирают, я слышу его дыхание. Оно не такое, как у людей. Слишком глубокое. Слишком... полное. Как будто он вдыхает не только

воздух, но и что-то ещё. Что-то, чего в моей комнате нет, но что он находит.

Я вспоминаю отца. Как он умирал. Не в больнице — в Империи нет больниц, есть только Дома Пепла, где лечат молитвами к мёртвым богам. Отец умирал здесь, на этом полу, и я сидела рядом, держа его руку. Он говорил мало. В основном смотрел на потолок, где трещина рисовала форму крыла. А перед концом он повернулся ко мне и сказал:

— Пепел не умирает, Эйрис. Он просто ждёт ветра.

Я не поняла тогда. Думаю, понимаю сейчас.

— Ты... пахнешь...

Я вздрагиваю. Голос — тихий, хриплый, из мешка.

— ...домом.

Я подсакиваю со стула. Он лежит так же, но глаза открыты. Они смотрят на потолок, на трещину в форме крыла. Или сквозь неё.

— Ты очнулся, — говорю я, подходя ближе. Голос звучит грубее, чем я хотела. — Как себя чувствуешь?

Он медленно поворачивает голову. Глаза — цвета пустоты — фиксируются на мне. И я снова чувствую это: тяжесть в груди, как будто воздух стал плотнее.

— Где... — он морщится, пытаюсь встать, но падает обратно. — Где это?

— Мой дом. Нижний город. У подножия Храма.

— Храм... — он произносит слово осторожно, как будто пробуя на вкус. — Звёздный?

— Других у нас нет.

Он закрывает глаза. Не от усталости — от чего-то другого. От боли, которая не физическая.

— Я не помню... — шепчет он. — Я не помню, как я здесь оказался. Я не помню... ничего.

— Имя? — спрашиваю я. — Помнишь имя?

Он молчит. Долго. Так долго, что я уже думаю, что он снова потерял сознание. Но потом он открывает глаза и смотрит на свою ладонь. На шрам, который тлеет в темноте, как маяк в тумане.

— Нет, — говорит он. — Нет имени. Только...

— Только что?

— Только пепел. И тишина. И... — он смотрит на меня, и в его взгляде что-то ломается. — И ты. Я помню твой запах.

Я отшатываюсь. Это слишком. Слишком странно, слишком близко, слишком... неправильно.

— Я тебя до сегодня не видела, — говорю я.

— Я знаю, — кивает он. — Но я помню. Ты пахнешь... домом. Тем местом, которое я потерял, прежде чем узнал, что оно существует.

Он говорит это без тени сентиментальности. Просто констатирует факт. И от этого становится только хуже.

— Ладно, — говорю я, отходя к столу. — Без имени тебе не обойтись. Я не могу звать тебя «мешок».

— Называй, как хочешь.

Я смотрю на него. На его чёрные волосы, усыпанные се-

ребром. На лицо, вырезанное из углей. На руки, которые лежат на груди, сложенные, как у мумии.

— Зола, — говорю я. — Пока не вспомнишь настоящее. Он кивает. Ему всё равно.

— А ты? — спрашивает он.

— Эйрис.

— Эйрис, — повторяет он, и имя звучит во рту у него странно. Слишком мягко. Слишком старо. Как будто он проносит его на языке, который я не знаю, но который узнаю.

Мы молчим. Я не знаю, что делать с человеком, который не помнит себя, но помнит мой запах. Я не знаю, что делать с тишиной, которая заполняет комнату и тяжелеет, как влага перед грозой.

— Ты голоден? — спрашиваю я наконец.

Он думает. Настоящая пауза, как будто он проверяет свое тело изнутри.

— Нет, — говорит он. — Но...

— Но?

— Но мне холодно. Не в теле. Где-то... глубже.

Я не спрашиваю, что он имеет в виду. Я просто подхожу, беру одеяло — старое, сшитое из чешуи мелких ящериц, — и накидываю на него. Он не шевелится, когда я это делаю. Но когда я отпускаю край одеяла, его пальцы касаются моей руки.

Прикосновение — как удар тока. Не больно. Но я чувствую, как что-то проходит через меня — от его кожи к мо-

ей, от его костей к моим. Мгновение. Секунда. А потом он отпускает, и я отшатываюсь, прижимая руку к груди.

— Прости, — говорит он, и в его голосе впервые появляется что-то человеческое. Смущение. — Я не хотел.

— Не делай так больше, — говорю я, но голос дрожит.

Он кивает. Закрывает глаза. И через мгновение его дыхание снова становится ровным, глубоким, нечеловеческим.

Я стою у печки и смотрю на него. На Золу. На незнакомца из пепла. И чувствую, как во мне что-то меняется. Что-то маленькое, едва уловимое, но необратимое.

Как будто я только что переступила черту. Или порог. Или край обрыва.

Утро приходит серым и тихим. Я просыпаюсь на стуле, шея затекла, рот пересох. Зола сидит у окна.

Он одет. В мои вещи. В старую рубашку отца, которая висела на гвозде, и в мои штаны, которые я ношу для работы в Храме. На нём всё слишком велико, слишком коротко, слишком чуждо. Но он сидит, сгорбившись, и смотрит в окно, и на мгновение он выглядит так, словно всегда был здесь. Словно всегда сидел у этого окна и ждал.

— Ты встал, — говорю я, потягиваясь.

— Я не спал, — отвечает он, не оборачиваясь. — Я не умею спать. Я просто... отключаюсь.

Странное признание. Но не самое странное за эту ночь.

Я встаю, наливаю воды, мою лицо. Вода ледяная, из бочки

у двери. Она бодрит. Я смотрю на себя в зеркало — маленькое, треснутое, вырезанное из полированной чешуи. Моё отражение: слишком худое, слишком бледное, волосы цвета пепла, глаза — цвета пепла. Я выгляжу как то, что я собираю.

— Ты Пепельщик, — говорит Зола. Не вопрос.

— Да.

— Ты собираешь их. Звёзд.

— Я собираю пепел, — поправляю я. — Звёзды упали тысячу лет назад. То, что осталось — это не они. Это только...

— Память, — заканчивает он. — Пепел — это память, которая не может умереть.

Я оборачиваюсь. Он всё ещё смотрит в окно, но его отражение в стекле смотрит на меня. И в этом отражении его глаза светятся.

— Откуда ты это знаешь? — спрашиваю я.

Он пожимает плечами.

— Не знаю. Но это правда. Я чувствую это. Каждый раз, когда ты рядом, я чувствую... их. Тех, кого ты собирала. Они шепчут. Не словами. Чувствами.

Я подхожу к столу. Мои руки трясутся, и я прячу их за спиной.

— И что они шепчут?

Он поворачивается ко мне. Впервые за всё время я вижу его лицо при дневном свете. Оно хуже, чем в темноте. Или лучше. Потому что при свете я вижу детали: мелкие трещинки на коже, похожие на отпечатки чешуи. Тонкие серебри-

стые прожилки в волосах. И глаза — не просто тёмные. В них, если смотреть внимательно, плавают искорки. Как пепел в воздухе.

— Они шепчут, — говорит он медленно, — что ты их слушаешь. Что ты — единственная, кто слышит. И что они боятся.

— Боятся чего?

— Боятся, что однажды ты перестанешь слушать. И тогда они исчезнут. Окончательно.

Я сажусь. Не потому что хочу. Потому что ноги подкашиваются.

— Это... — я качаю головой. — Это невозможно. Пепел не думает. Пепел не боится. Пепел просто... есть.

— Как я? — спрашивает он, и в его голосе нет язвительности. Только пустота.

Я не отвечаю. Потому что не знаю ответа.

Он встаёт. Двигается неуверенно, как новорождённый жеребёнок, но с какой-то странной грацией. Каждый шаг — это не шаг, это... покачивание. Как будто он привык к другой гравитации. К другому воздуху.

— Я хочу увидеть, — говорит он.

— Что?

— То, что ты собираешь. Где ты собираешь.

— Нет, — отрезаю я. — Ты не пойдёшь в Храм. Тебя там нашли. Если кто-то увидит тебя...

— Что? — он наклоняет голову. — Что будет, если кто-

то увидит меня?

— Ты не знаешь, кто ты. Но я вижу, что ты не... обычный. Твоя рука светится. Ты не ешь. Ты говоришь с пеплом. Если стража найдет тебя, они...

— Что? — повторяет он, и в его глазах появляется что-то новое. Не страх. Любопытство. Живое, почти детское любопытство. — Что они сделают?

— Убьют. Или хуже. В Империи есть Дома Пепла, где лежат молитвами. Но есть и Дома Тишины, где... убивают. Тихо. Без следа. Для тех, кто принадлежит Звёздам.

Он смотрит на свои руки. На шрам, который теперь, при дневном свете, выглядит тусклее, но всё ещё пульсирует.

— Я принадлежу Звёздам? — шепчет он.

— Я не знаю. Но я не хочу проверять.

Он подходит ближе. Слишком близко. Я чувствую запах от него — не пот, не грязь. Что-то древнее. Озон и пепел и что-то ещё, что я не могу назвать. Что-то, что пахнет... небом.

— Эйрис, — говорит он, и моё имя во рту у него звучит как заклинание. — Я не знаю, кто я. Но я знаю, что ты спасла меня. И я знаю, что должен тебе... что-то. Что-то важное. Я чувствую это здесь.

Он кладет ладонь на грудь. Не туда, где сердце. Выше. Туда, где ключица соединяется с горлом. Там, где у людей нет ничего важного. Но у него, кажется, есть.

— Не надо, — говорю я, отступая. — Я не спасала тебя.

Я просто... не смогла оставить.

— Почему?

Потому что ты сказал, что я пахну домом. Потому что я не помню, что такое дом. Потому что отец умер, и я одна, и твой голос был тише, чем тишина вокруг.

— Потому что, — говорю я. — И хватит.

Он не настаивает. Он просто смотрит. И я чувствую, как под его взглядом что-то во мне тает. Что-то, что я держала замёрзшим годами.

— Ладно, — говорю я, отворачиваясь. — Если хочешь остаться — помогай. Я должна сортировать вчерашний сбор. Ты можешь... сидеть и не светиться.

— Постараюсь, — говорит он, и в его голосе впервые мелькает что-то похожее на улыбку.

Сортировка пепла — ритуал. Отец учил меня, когда мне было шесть. Я сижу за столом, и передо мной три миски: для высшего пепла (голубоватого, почти прозрачного), для среднего (серебристого, основная валюта) и для низшего (тёмного, почти чёрного, используется в печах и Домах Тишины). Разделение — по весу, по звуку, по... нюху. Да. Пепел пахнет по-разному. Высший — озоном и снегом. Средний — металлом и дождём. Низший — гарью и солью.

Зола сидит напротив. Он смотрит, как я работаю, и его глаза следят за каждым движением.

— Это от Седьмой, — говорю я, пересыпая голубоватую

горсть в высшую миску. — Она легла под Храмом. Её пепел — самый редкий.

— Почему Седьмая? — спрашивает он. — Почему не Первая, или Третья?

— Потому что она упала последней. И не на севере, как остальные. Она упала здесь, в сердце Империи. Люди построили город на её костях, не зная, что под ними — бог.

— Бог, — повторяет он. — Звёзды были богами?

— Для кого-то — да. Для кого-то — драконы. Для кого-то — просто чудовища, которые сожгли полмира, прежде чем их остановили. История пишется победителями.

— А кто победил?

Я смотрю на него. На его лицо цвета тления. На шрам, который тлеет.

— Люди, — говорю я. — Как всегда.

Он молчит. Потом протягивает руку — ту, без шрама — и кладёт её на стол. Пальцы длинные, тонкие, с чёрными ногтями, похожими на обсидиан.

— Могу я? — спрашивает он.

— Что?

— Потрогать.

Я смотрю на его руку. На свои миски. На пепел, который я собирала вчера, рискуя жизнью.

— Осторожно, — говорю я, пододвигая к нему миску с высшим пеплом. — Он...

Он не слушает. Он не трогает пепел. Он трогает мою руку.

Его пальцы ложатся на мои — те, что усыпаны серебристой пылью. И я чувствую это снова. Ток. Но не боль. Тепло. Невероятное, обжигающее, живое тепло, которое идёт от его кожи к моей. И под его пальцами пепел на моих руках начинает светиться.

Не метафорически. Настоящее, мягкое, голубоватое свечение. Как у его шрама, но мягче. Спокойнее. Как будто пепел узнаёт его.

— Они знают меня, — шепчет он. — Они... рады.

Я не могу пошевелиться. Я смотрю на наши руки — его тёмные, мои бледные, усыпанные светом — и чувствую, как по спине стекает холод. Но не страх. Что-то другое. Что-то, что я не могу назвать, потому что нет слова для этого в моём языке.

— Отпусти, — шепчу я. Но не отстраняюсь.

Он смотрит на меня. Его глаза широко раскрыты, и в них — не пустота. В них — узнавание. Как будто он видит меня впервые. Не девушку с лопатой. Не Пепельщика. Меня.

— Эйрис, — говорит он, и его голос дрожит. — Я помню. Не всё. Но... я помню огонь. И я помню, как упал. И я помню...

Он замолкает. Его лицо искажается. Не от боли — от ужаса. Он отпускает мою руку, отшатывается, валится со стула. Падает на пол, сжимая голову руками.

— Нет, — стонет он. — Нет, нет, нет...

— Зола! — я падаю на колени рядом с ним. — Что слу-

чилось? Что ты помнишь?

Он смотрит на меня сквозь пальцы. Его глаза — не человеческие. В них пламя. Не отражение. Настоящее, живое пламя, которое пытается вырваться наружу.

— Я помню, как умирал, — шепчет он. — Я помню, как меня рубили. Как кричали. Как падал. И я помню... я помню, что не должен был вставать. Что я должен был остаться пеплом. Но кто-то... кто-то...

Он вцепляется в мою рубашку. Сила невероятная. Я чувствую, как ткань рвётся.

— Кто-то спел, — шепчет он, и его голос становится другим. Глубже. Старше. Не его. — Кто-то спел песнь, которой не должно было быть. И я... я...

Он обрывает себя. Замирает. Дыхание ровное. Глаза — пустые.

— Зола? — трясусь я его. — Зола!

Он моргает. Смотрит на меня. И снова это ребёнок. Испуганный, потерянный, безымянный.

— Что... что случилось? — спрашивает он.

Я открываю рот, чтобы ответить. Но тут раздаётся звук.

Не из дома. Извне. Из города.

Колокол.

Один удар. Длинный, низкий, тяжёлый. Затем второй. Третий.

Я знаю этот звук. Все в Нижнем городе знают. Это Колокол Охоты. Звонят, когда находят то, что не должно су-

ществовать. То, что принадлежит Звёздам. То, что пробудилось.

Я бегу к окну. На улице — беготня. Люди высыпают из домов, лица бледные, глаза широко раскрыты. Кто-то кричит. Кто-то плачет. Кто-то молится.

А вдалеке, у южных ворот, я вижу их.

Охотники.

Их четверо. Высокие, в серых плащах без лиц. У каждого — копьё, и копыя не из железа. Они из чего-то белого, блестящего, похожего на... кость. Драконью кость.

Они идут по улице, и толпа расступается, как пепел перед ветром. Они идут медленно, не торопясь. Они идут так, как идут те, кто знает, что добыча уже их.

— Что это? — шепчет Зола за моей спиной.

Я оборачиваюсь. Он стоит, прислонившись к столу, лицо ещё бледнее, чем обычно. Его шрам пульсирует. Ярко. Бешено. Как сердце, которое пытается вырваться из груди.

— Охотники, — говорю я. — Они идут за тем, что не должно жить.

— За мной? — спрашивает он. Тихо. Без паники. Как будто уже знает ответ.

Я не отвечаю. Не нужно.

Он смотрит на свои руки. На шрам. На пепел, который внезапно поднимается с пола, кружится вокруг него, образуя слабый, едва заметный вихрь.

— Тогда мне пора, — говорит он.

— Нет, — отрезаю я. — Ты не выйдешь. Они тебя...

— Они меня найдут, — перебивает он. — Я чувствую их. Они чувствуют меня. Это... это как магнит. Мы тянемся друг к другу. С тех пор, как я проснулся.

Он подходит к двери. Я бросаюсь к нему, хватаю за рукав.

— Ты не знаешь, куда идти. Ты не знаешь, кто ты. Ты умрёшь.

Он оборачивается. Смотрит на меня. И улыбается.

Улыбка странная. Грустная. Старшая, чем его лицо.

— Я уже умирал, Эйрис. Раз. Или тысячу. Я не помню. Но я помню одно.

— Что?

Он кладёт ладонь мне на щеку. Пепел с его пальцев осыпается на мою кожу, и он горячий. Не обжигающий. Горячий, как слеза, которые ты долго держал внутри.

— Я помню, что не хочу уходить. Но я должен. Потому что если я останусь — они найдут не только меня. Они найдут тебя. И я...

Он замолкает. Глотает. И говорит:

— Я не хочу, чтобы ты стала пеплом. Ты слишком хорошо пахнешь.

Он открывает дверь. Холодный ветер врывается внутрь, разносит пепел по комнате, гасит печь.

— Зола! — кричу я.

Он выходит. Дверь закрывается.

Я стою посреди комнаты, в окружении мисок с пеплом, в

окружении тишины, которая теперь кажется оглушительной. На щеке всё ещё горит след его пальцев. На столе — его стул, сдвинутый, словно он только что встал. В воздухе — запах озона и чего-то потерянного.

Я бегу к окну. Вижу его. Он идёт по улице, в моей рубашке, в моих штанах, босой, по пеплу. Он идёт прямо к Охотникам.

Нет. Не к ним. Мимо них. Он идёт к воротам. К Храму. А Охотники...

Они останавливаются. Поворачиваются. Смотрят ему вслед. И не двигаются. Просто стоят. Как будто ждут. Как будто знают.

И тогда я понимаю.

Они пришли не за ним. Они пришли проверить. Почувствовать. Убедиться, что он проснулся.

А теперь они уйдут. Но вернутся. Когда он будет один. Когда я не смогу вмешаться.

Я отхожу от окна. Сердце колотится так, что слышно в ушах. Я смотрю на стол. На пепел. На миски. На руки, которые всё ещё светятся там, где он касался меня.

И я знаю, что мне нужно делать.

Я хватаю лопату. Мешок. И бегу к двери.

Потому что если он идёт в Храм — я иду туда же. Потому что если он — пепел, который не хочет умирать — я буду ветром, который не даёт ему остыть.

Я выбегаю на улицу. Колокол молчит. Охотники стоят

неподвижно. А впереди, в серой пелене утра, я вижу его спину. Уходящую. В моей одежде. С моим запахом. К тому месту, где я его нашла.

И я бегу за ним.

Рука, которая помнит огонь

Я бегу по улицам Нижнего города, и пепел под ногами взмывается, как серебристый снег. Люди расступаются, но не потому что меня боятся — они смотрят в другую сторону, туда, где Охотники стоят у южных ворот, серые столбы без лиц. Никто не смотрит на девушку с лопатой. Никто не замечает, что я бегу не от колокола, а к нему.

Зола уже далеко впереди. Он идёт не спеша, но каждый его шаг — это два моих. Его босые ступни оставляют следы в пепле, и эти следы светятся. Едва-едва, едва заметно, но я вижу. Каждый отпечаток — тусклая искорка, которая гаснет, когда ветер заносит новую порошину.

— Зола! — кричу я, но голос уходит в пустоту между домами.

Он не оборачивается. Он идёт к Храму, как будто его тянет невидимая нить, прибитая к позвоночнику. Я знаю это чувство. Я чувствую то же самое каждое утро, когда просыпаюсь и понимаю, что снова должна подняться наверх. Но для меня это работа. Для него — что-то другое. Что-то, что ближе к боли, чем к долгу.

Я догоняю его у обрушенного портика. Он стоит, прислонившись лбом к камню, который когда-то был красным, а

теперь цвета пепла. Его плечи трясутся. Не от холода — в Империи никогда не бывает настоящего холода, только тепло камней и тепло печей. Он трясётся от того, что происходит внутри.

— Ты идёшь ко мне, — говорю я, подходя ближе. Не вопрос.

Он поворачивается. Глаза его — не человеческие. В них плавают искорки, как в пепле, который только что сорвался с костра.

— Я не мог иначе, — шепчет он. — Они зовут. Не голоса-ми. Чем-то... глубже. Как будто у меня в крови есть крючок, и кто-то тянет за нить.

— Тогда я пойду с тобой.

— Нет.

— Я не спрашивала разрешения.

Он смотрит на меня. Долго. В его взгляде что-то ломается — сопротивление, или гордость, или страх за меня. Потом он кивает.

— Тогда держись ближе. Там, куда мы идём... я не знаю, смогу ли я тебя защитить.

— Я защищу себя сама, — говорю я, поднимая лопату. — А тебя — при необходимости.

На его губах мелькает тень улыбки. Настоящей. Не той, что была утром — грустной и старой. Эта улыбка молодая. Удивлённая. Как будто он забыл, что такое шутить.

Мы входим в Храм.

Внутри — темнее, чем должно быть. Солнце ещё высоко, но свет не проникает сквозь трещины в сводах. Зола идёт впереди, и я следую за ним, ступая туда, где он ступил. Его следы светятся всё ярче, освещая путь вниз, вглубь. Мы проходим Глубинный зал, где я его нашла. Проходим дальше, туда, куда я никогда не осмеливалась заходить.

— Ты знаешь дорогу? — шепчу я.

— Нет, — отвечает он. — Но кости знают.

Мы спускаемся по лестнице, которой не должно существовать. Ступени выбиты в живом камне, и они тёплые. Не от солнца. Отнутри. Каждый шаг — это шаг вглубь чего-то, что дышит медленнее, чем мы.

Лестница заканчивается аркой. За аркой — зал.

Я замираю.

Зал круглый. Высокий. Свод утерян в темноте, но стены... стены светятся. Не факелами. Не лампами. Сами. Они выложены плитами из спрессованного пепла, и каждая плита излучает мягкий, серебристо-голубой свет. В центре зала — семь постаментов. Каменных, древних, выточенных из чёрного базальта.

Шесть из них пусты.

На седьмом — пепел.

Не куча. Не горсть. А форма. Человеческая. Лежащая. Как будто кто-то лёг спать тысячу лет назад и растворился, оставив после себя только контур. Голова, плечи, руки,

сложенные на груди. Ноги. Пепел держит форму, как будто внутри него всё ещё есть кости. Или воля.

— Это... — начинаю я.

— Это я, — шепчет Зола.

Он стоит у входа, не входя. Его шрам пульсирует так, что свет от него отбрасывает тени на стены. Тени танцуют, и мне кажется, что они танцуют в такт его сердцебиению.

— Или то, чем я был, — добавляет он. — Или то, что я должен был стать.

Он делает шаг внутрь. Пепел на постаменте вздрагивает. Не развеивается — вздрагивает, как кожа, по которой пробежал озноб.

— Не подходи, — говорю я, хватая его за рукав. — Что-то не так. Пепел не должен...

— Он ждёт, — перебивает Зола. — Он ждал тысячу лет. Он ждал меня. Или того, кто придёт за мной.

Он освобождает рукав из моих пальцев и идёт к постаменту. Я бегу за ним, лопата готова — к чему, я не знаю. К пеплу? К тени? К собственному отражению в его глазах?

Он останавливается у постамента. Смотрит на пепельный контур. И медленно, очень медленно, опускает свою светящуюся ладонь на место, где должна быть рука пепельного тела.

Контакт.

Свет — не вспышка. Взрыв. Голубой, белый, ослепительный. Я закрываю глаза, но свет проникает сквозь веки. Я

кричу, но не слышу своего голоса — только гул, как будто весь Храм вздохнул после тысячелетнего сна.

Когда свет угасает, я открываю глаза.

Зола стоит на коленях. Его рука — та, со шрамом — погружена в пепел по запястье. И пепел... пепел движется. Он стекает к его запястью, обвивается вокруг шрама, заполняет бороздку на коже. Шрам перестаёт быть шрамом. Он становится руслом, по которому течет жидкий свет.

— Зола! — я падаю на колени рядом, хватаю его за плечи.
— Вытащи руку!

Он не слышит. Его глаза открыты, но он не видит меня. Он смотрит куда-то вверх, туда, где должен быть свод, но там только тьма и звёзды, которых не существует.

— Я вижу, — шепчет он. — Я вижу...

И тогда я чувствую это.

Поток. Не свет, не воздух — поток воспоминаний, который льётся из него в меня, потому что я касаюсь его, потому что мы связаны. Я пытаюсь отпустить его плечи, но не могу. Мои пальцы слиплись с его одеждой, с его кожей, с тем, что он видит.

Я вижу.

Небо. Настоящее, бездонное, чёрное небо, усыпанное не теми звёздами, что над Империей. Эти звёзды живые. Они движутся, оставляя за собой следы из огня. Я лечу. Нет — он летит. Крылья, раскинутые в ветре, каждое перо — это язык пламени. Внизу — земля, маленькая, жалкая, дымящаяся.

Люди — точки. Города — раны на коже мира.

И он свободен. Он свободен, и это так сладко, что больше ничего не значит.

Но потом — крики. Не его. Других. Шесть огромных теней падают с неба, оставляя за собой дымные шлейфы. Один за другим. Север, восток, запад. Они падают, и он чувствует каждое падение как удар в собственную грудь. Братья. Сёстры. Те, кого он знал до того, как знал своё имя.

И тогда он видит их. Охотники. Не те, что сейчас стоят у ворот — древние. Настоящие. В белых доспехах из кости и лунного камня. С копьями, которые не ранят — они выжидают. Они стоят на холме, и их лиц нет. Только шлемы, и в каждом шлеме — тьма, в которой плавает одна-единственная звезда.

Они бросают копье. Он уворачивается. Второе. Третье. Но их много. Слишком много. И он устал — устал от падения братьев, устал от горя, которое невозможно выразить криком, потому что у драконов нет слов для утраты.

Четвёртое копье попадает в крыло. Он падает. Не сразу — он цепляется за воздух, бьёт хвостом, пытается улететь. Но пятый удар — в спину. И он падает.

Земля приближается. Быстро. Слишком быстро. Он видит, куда падает — в город, который люди построили на его костях. Он видит башни, улицы, крошечные фигурки, которые поднимают головы и кричат. Не от радости. От страха.

И в последний миг, перед ударом, он слышит песню.

Женский голос. Низкий, тихий, как шёпот пепла. Голос поёт не словами — он поёт теплом. Поёт домом. Поёт тем, что он потерял и что не хочет терять.

Он закрывает глаза. И думает — не о мести, не о боли. О девушке, которую никогда не встречал. О голосе, который принадлежит ей. О том, что если он умрёт сейчас, он хотя бы умрёт, зная, что где-то существует такое тепло.

Удар.

Тьма.

Тишина.

Тысяча лет.

Я открываю глаза и кричу.

Не от боли. От горя. От того горя, которое не моё, но которое засело в груди, как будто я сама падала. Я лежу на полу зала, лицом в пепел. Руки трясутся. Щёки мокрые — я плакала, не замечая.

— Эйрис.

Голос рядом. Тихий. Человеческий.

Я поднимаю голову. Зола сидит напротив, прислонившись спиной к постаменту. Его рука — та, что была в пепле — теперь чистая. Но шрам изменился. Он больше не тлеет. Он светится постоянно, мягким, голубоватым светом, как стены зала. И форма его другая. Не просто линия. А знак. Руна. Что-то древнее, что я не могу прочитать, но узнаю.

— Ты видела, — говорит он. Не вопрос.

— Да, — шепчу я, садясь. Голова кружится. — Я видела.

Как ты... как ты упал.

Он кивает. Его лицо спокойное. Слишком спокойное. То спокойствие, которое приходит после того, как выплакал всё, что можно.

— Я был драконом, — говорит он. — Я знал. Чувствовал. Но не помнил. А теперь... теперь я помню небо. И я помню, как его потерял.

Он смотрит на свои руки. На руны света. Потом смотрит на меня.

— Ты была там. В конце. В моей... в моём воспоминании. Не ты. Но голос. Твой голос.

— Мой? — я отшатываюсь. — Зола, я не... мне было шестнадцать, когда ты упал. Я даже не родилась, когда...

— Я знаю, — перебивает он. — Но пепел не знает времени. Он знает только связь. И когда я падал... я думал о голосе, который будет меня ждать. О тепле, которое я никогда не чувствовал, но знал, что оно существует. И когда я проснулся в Храме... когда ты коснулась меня...

Он замолкает. Глотает. Его спокойствие трескается, и под ним я вижу страх. Не страх смерти. Страх надежды.

— Эйрис, — говорит он, и его голос дрожит. — Я не знаю, кем я был. Но я знаю, кем я хочу быть. И это... это зависит от того, останешься ли ты рядом. Потому что если ты уйдёшь — я снова стану пеплом. Не телом. А тем, что ты собираешь в мешки.

Я смотрю на него. На дракона в человеческом облике. На

существо, которое помнит небо и боится одиночества.

Я должна сказать что-то умное. Что-то практичное. Что-то, что сказал бы отец: «Не ввязывайся в чужие войны», «Пепельщик должен быть невидим», «Не привязывайся к тому, что умрёт первым».

Но я не Пепельщик сейчас. Я просто Эйрис. Девятнадцатилетняя девушка, которая впервые за три года чувствует, что не одна.

— Я останусь, — говорю я. — Не потому что должна. А потому что...

Я не заканчиваю. Потому что не знаю, как закончить. Потому что «потому что» — это чувство, у которого нет слов.

Он смотрит на меня. И медленно, очень медленно, протягивает свою светящуюся руку. Ладонь вверх. Шрам — руна — пульсирует, как сердце.

— Коснись меня, — шепчет он. — Не как Пепельщик. Как... как ты.

Я смотрю на его руку. На свои пальцы, усыпанные пеплом. Я знаю, что будет, если я коснусь. Я знаю, что пепел заговорит, что свет вспыхнет, что мир снова перевернётся.

Я касаюсь.

Его пальцы закрываются вокруг моих. Тепло — не обжигающее. Настоящее. Человеческое. Или то, что осталось от человечности в существе, которое было богом.

Пепел под нашими руками начинает светиться. Не ярко. Мягко. Как светлячки в траве. Как звёзды, которые мы оба

потеряли.

— Я помню ещё кое-что, — говорит он, не отпуская мою руку. — Из видения. Перед тем как упасть... я сделал обещание.

— Какое?

— Я пообещал, что если когда-нибудь поднимусь... я найду ту, кто спел мне песнь. И никогда не отпущу.

Его пальцы сжимаются сильнее. Не больно. Но так, как будто он боится, что я исчезну, если ослабит хватку.

— Эйрис, — шепчет он. — Я не знаю, была ли это ты. Но я знаю, что если отпущу твою руку сейчас... я развеюсь. Поэтому...

— Поэтому держи, — говорю я.

Мы сидим на полу Зала Семи, в окружении пепла, который светится. Два мёртвых бога и одна девушка, которая собирает останки. Или один живой бог и одна девушка, которая только что поняла, что её рука — единственное, что удерживает его в этом мире.

Над нами — тьма. Вокруг — тишина. Но в нашей сжатых ладонях — огонь. Маленький, едва тлеющий, но настоящий.

И я думаю: вот оно. Вот та грань, о которой я не знала, что ищу. Между пеплом и пламенем. Между тем, кто собирает останки, и тем, кто ими был. Между прошлым, которое нельзя вернуть, и будущим, которого может не быть.

Мы сидим так долго. Я не знаю, сколько. Может, минуты. Может, часы. Но когда раздаётся звук — глухой, низкий, ка-

менный — мы оба вздрагиваем.

Это шаги. Над нами. В Храме.

Глава 4

Пепел говорит шёпотом

Шаги над головой — не человеческие.

Я слышала, как ходят люди: топот, шарканье, иногда скрип подметённых сапог по камню. Это другое. Это звук тяжёлых костей, стучащих о пустоту. Металлический, гулкий, механический ритм, как будто кто-то вбивает гвозди в гроб.

Зола вцепляется в мою руку так сильно, что я чувствую, как кости в моих пальцах сдвигаются. Но я не кричу. Я даже не шевелюсь. Мы сидим на полу Зала Семи, прижатые друг к другу, и смотрим вверх — туда, где свод теряется в темноте, а за ним, за толщей камня, ходят они.

— Они чувствуют, — шепчет Зола мне прямо в ухо. Его дыхание горячее, но голос — лёд. — Мою кровь. Или то, что от неё осталось.

Я качаю головой. Медленно, чуть заметно. Не время говорить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.